

*Вас мир не может ненавидеть,
а Меня ненавидит,
потому что Я свидетельствую о нем,
что дела его злы...*

От Иоанна, 7, 7

Н и одной звезды, ни одного зыбкого лучика... полуночная, внелунная, черно-тучевая темень густилась столь непроницаемо, грозно, словно бы на планете Земля начинал отсчитывать свои годы не век двадцать первый, а век первый раннечеловеческий, когда ничто нигде не освещалось ни светом евангельским, фаворским, ни иным — электрическим, неоновым, газово-нефтяным. И если бы в этом уголке мира вдруг оказался издалекий пришелец, он бы едва ли определил (в непроглядной темени — ни одного видимого признака), где он? Может, Палестина, может, берег индийской реки Ганг, может, предгорье Карпат, может, тропический лес Южной Америки, даже Мезоамерики. Или неисходимая Русь-Россия?

В большом, некогда волостном придонском селе с поэтичным названием Синий Колодезь, на приречной улице в дубо-

вом рубленом доме, в котором, его перестраивая и достраивая, два века жили предки страдающего бессонницами человека, длилась ночь, и казалось, ей не будет исхода. Человек чувствовал приближение конца своей земной жизни, он чувствовал, что видеть землю и солнце ему осталось недолго. Он, Андрей Александрович Природский (впрочем, какая разница, как тебя зовут, если всех в мире когда-то настигнет безымянность?! На венках на могилу напишут: Дорогой. Родной. Любимый. Бесконечно ценимый... Разумеется, еще — фамилия, имя, отчество). Так вот он, Андрей Александрович Природский, полвека отдавший учительству и просветительству в родном крае, ночью думой думал: что его малые, слабые слова и поступки, пусть и доброзвучные, если все свидетельствует о том, что мир сходит с ума? Если надвинулись времена всемирных разломов?

А когда на последней районной учительской конференции почетный учитель Природский заявил, что разрушительное будущее отечественных школ ускоряет и материальное расслоение среди учеников, а текущее время назвал малосердечным и лукавым, малиново-павлинно выраженный областной депутат, явно высокомерно жалея старика в немодном костюме, воскликнул: «Да прекрасное у нас время: динамичное, энергичное, сверличное!..»

Двенадцать человек с разных концов России и по разным поводам ехали или готовились приехать в то придонское, когда-то волостное и родное для них село. Так случилось, что, перебирая года детства и юности, все они думали об учителе — об Андрее Александровиче Природском.

Из Москвы в Воронеж в черную ночь мчал черный «Мерседес», на заднем сиденье полулежа подремывал ответственный работник министерства сельского хозяйства Василий Наполов, когда-то «Васька Раздумчивый», который на уроке в десятом классе позабавил сверстников неожиданным вопросом-ответом: «Зачем нам, Андрей Александрович, история? Когда-нибудь помрем неисторически, вот и вся история!» Мчалась скоростная машина, а Наполову было отчего пребывать в задумчивости и нынче: в летошные жаркие месяцы сгорели хлеба в черноземной полосе, зима шла бесснежная, уже грозя и на следующий год бесхлебьем. Его же инспекционная командировка, грустно думал он, ни зимы не поправит, ни хлеба не прибавит. Единственная радость — хоть мельком побывать в родном селе, встретиться со старым учителем.

Помощник председателя союзной федерации водного плавания Константин Бруданин, сам еще не столь давно пловец выдающийся, свой плавательный разгон начинал на Дону, и не без опасной испытке: в семь лет тонул, а спас его учитель, который еще в ранней юности без натуги переплывал реку с берега на берег, часто даже не один раз.

Ректор пединститута Анатолий Поправко не с самыми добрыми чувствами собирался ехать на родину. На ученом совете выявилась явная оппозиция новому курсу нового ректора, и он, неизменно успешливый и в бытность комсомольским секретарем педагогического института, и в бытность проректором, думал, как загасить эту искорку мятежа. Конечно, есть большой покровитель — губернатор, но он — для более важного. Мог бы подсказать Природский, но тот, ровный со всеми, то ли за характер «Толяшки» Поправко, то ли за излишний его энтузиазм всюду заявляться и быть первым, так осталось в памяти, недолюбливал будущего ректора.

Подполковник Дмитрий Булатнин, служивший и на Дальнем Востоке, и в Москве, на День Победы ежегодно приезжал в родное село и одаривал ветеранов войны неизменными подарками — шкаликами коньяка, конфетами и пачками чая — черного и зеленого; это у него со школьных лет — чем-нибудь да одаривать родносельчан: приносил ли из лесу ягоды, груши-дички, лечебные травы — большей частью всем подряд раздавал. Первый раз ехал он в Синий Колодезь в декабре — перевозить в столицу тяжело заболевшую мать.

Бизнес-дама Юлия Милякова, еще с дошкольной поры деловая, любившая верховодить, а в десятом классе выросшая в красавицу столь редкую, словно природа за два века только и занималась тем, как бы в Синем Колодезе взрастить такую диво-розу. Еще в школе на окружающих она поглядывала веселыми, холодноватыми глазами, обещала сокурсникам стать женой министра образования и просвещения и одарить местные библиотеки собраниями отечественной и мировой классики. Женой министра она не стала, хотя и побывала возлюбленной государственного мужа не ниже уровня министерского. Завела свое дело в широком размахе, от шоколадной фабрики до траволечебного Дома отдыха. В самом начале нынешнего века доставила-таки в село целую машину собраний сочинений. Но почти никто здесь книг уже не читал...

Художник Григорий Вербенко, еще в свои школьные годы рисовавший «внепрограммные» старорусские крепости и монастыри, копируя их со старинных изданий в домашней библиотеке учителя, уже известным в творческих кругах живописцем собрал на вологодских, новгородских, архангельских землях семь старинных Евангелий, целый иконостас образов Спасителя, Богородицы и Святых; многое привез в дар Природскому; но бывший учитель посетовал в том духе, что священные книги и иконы скорбят по родным, намоленным землям; правда, принял небольшую икону Христа Всемилоственного и Богородицы Владимирской. Теперь художник вез в дар картину «Синий Колодезь» — большеформатное полотно, стоцветное изображение своей родины.

Механизатора Ивана Текутьева и доярку Марию Рукинову на протяжении школьного десятилетия соединяла не только парта, но и детское, отроческое, юное чувство влюбленности и любви; из класса в класс Ваня да Маша были неразлучно вместе. Вскоре после школы они поженились и перебрались в дальнее село района, но в Синий Колодезь всегда приезжали на день рождения учителя — двадцать второго декабря, в день зимнего солнцестояния — под солнцем самый короткий день. Приедут, скорее всего, и сегодня.

Примчится из райцентра и медсестра Татьяна Тоникина, когда-то отзывчивая школьница-хохотунья «Танюшка — розовые ушки» и по-прежнему, как и в школьные годы, отзывчивая жизнерадостная взрослая — она тоже навещает его в дни рождения.

Заглянут, быть может, на какой час и менеджер строительной компании Антон Стариков, бизнесмен Кирилл Пригородов, имиджмейкер Виталий Малеркин (для родного села — господа «экссклюзивные», — все трое уже в малых летах были рукасто-похватистые, напористые, а позже в перестройку и новую — рыночную — среду вонзились так быстро, словно в рыночных удачливых рубахах родились; их занятия не вызывали в учителе особых радости и уважения, равно, как и слова, коими определялись занятия — менеджер, бизнесмен, имиджмейкер.

Ночь выдалась — будто езда по бесконечно-дальней дороге и знобно-непроницаемая, что глубинный колодец; для семидесятисемилетнего Андрея Александровича Природского, болезненно-исхудалого, — верно, самая долгая за всю его жизнь.

Пройдет еще семь часов, и семьдесят семь лет назад он появится на белый свет...

Он то медленно вышагивал по комнате, то подустало ложился на диван, то, словно отбросив свою немолодость, резко поднимался и присаживался к письменному столу — или читал, или записывал.

Выразительными, от старости не выцветшими глазами читал он Святые Благовествования. Скоро месяц, как ежесуточно читал и перечитывал, разве что отрываясь днем на еду, хозяйственные мелочи и малые прогулки к донскому берегу. Иногда ему становилось жалко себя. Иногда он испытывал к самому себе тяжелую неприязнь.

Он понимал, что прожил жизнь не так, как ему должно было прожить. В подобном чувствовании он находился уже несколько лет, но бездна несоответствия меж тем, как прожилося и как должно было прожиться, особенно разверзлась при множественном прочтении Ново-Заветной Книги.

Он снова и снова выхватывал из прожитого яркие радостные или горестные картины, не пытаясь взглянуть в них, ибо они словно вросли в его тело и душу. Как все славно разворачивалось! Он учился на историко-филологическом факультете Воронежского университета и полюбил девочку с курса; она была землячка с приветливым именем и лучистой фамилией — Света Солнечная; взрастали они в десятке верст друг от друга, в детстве ни разу не встретясь. И в городе они словно бы и за детство восполняли свое чувство, и были всюду и везде вместе. На пятом курсе поженились, от счастья оба словно сияли, и даже больным людям, глядевшим на них, становилось легче и улыбчивей.

Тут еще был он принят в аспирантуру и уже через два года защитил кандидатскую диссертацию; правда, на первых порах тема о европейско-русском тяготении и противостоянии на протяжении семи веков почему-то встретила глухое неприятие. Но руководительница, замечательно находчивая, умная и красивая Людмила Мироновна Притальцева, уже в тридцать лет защитившая докторскую, бывшая на тринадцать лет старше своего подопечного, сумела пробить все преграды на пути его исследования-размышления. Диссертация была названа одной из лучших.

Андрею и Свете дали квартиру, вскоре родилась у них дочь Даша. Однокомнатная квартирка стала гнездышком любви — милее палат царственных.

Однажды пригласила его Людмила Мироновна к себе на дом, чтобы обсудить тему и проспект его будущей докторской, за разговорами-спорами засиделись допоздна. И, более необъяснимо, чем просто, он остался у нее на ночь. Самое для него труднообъяснимое, тягостное (другой бы, может, ощутил — как радостное), — загостевался у нее на неделю. В перерыве меж опытными ласками Людмила Мироновна уверенно пообещала, что Природскому при его уме, историческом чутье быть когда-нибудь академиком. И засмеялась, дескать, стань она ему еще ближе, и посвящение в академики свершится ускоренно.

Он попробовал отшутиться: мол, едва ли ее украсит роль Калипсо, удерживающей Одиссея, да и он не пророк, чтобы связать себя с женщиной почтенно старше его, да еще и будучи женатым.

Резко, вдруг проникся он неприязнью и к своей будущей ученой карьере, и к находчивой, умной, красивой женщине, что столь участливо помогала ему ту карьеру творить.

Жена с малой дочерью отпуск проводила в деревне у родных. Когда она вернулась, и они заговорили о его будущем ученом восхождении, он ей жалко и беспощадно рассказал о своем падении. Жена долго молчала, и когда он сказал о своем отвращении к себе, предавшему, и о непрости-мости его, она только и ответила: «У нас дочь...» Это была малая нить надежды совместного будущего, и он, бесконечно благодарный ей, пред-ложил вернуться с нею на село и там заучительствовать. Она молча, по-корно согласилась.

Нередко после чтения новозаветных страниц он брал авторучку (в областном городе приобретенный компьютер, не нажатый на кнопку «сохранить», несколько раз терял его многостраничные тексты, и Природ-ский вскоре передал его сельской библиотеке), и писал то ли от скорби о текущем, которое ему казалось всеземным грехопадением, то ли от наив-ной попытки вспомнить свое бывшее как предупреждение и поучение кому-то из грядущего. Слово его записки непременно сохраняют в Главном ар-хиве человечества; да и Главный архив — разве он уцелеет, когда погиб-нет род человеческий или изменится напрочь и переселится на далекие неудобья иных звезд.

Он поднялся с кровати, всполоснул лицо, авторучка лежала на откры-той тетради, он продолжил записи...

(«Третье тысячелетие в самом начале своем ломает человечество — расчеловечивает. Будто Антихрист не на пороге, а уже вошел во все стра-ны, во все города и веси. Обезжизненная электронно-синтетическая жизнь, где все прослушивается, продается, предается; тотальные обман, совращение, подмена; словесные саги и бронзовые или каменные памят-ники воинственной посредственности, многошумным «историческим» персонажам, часто более наглым, чем по-настоящему даровитым; беспре-рывные балы преуспевающих; мировые конторы капитала и ростовщиче-ства — полураскрытые, но по-прежнему хранящие тайны победных за-мыслов и гешефтов; убиение Европы как культурной неповторимости; разрушение древнейше-православной Сирии. Не дьяволиада ли — скоро разбомбленные Северо-Атлантическим военным блоком Сербия и Черно-гория покорно идут именно в тот Северо-Атлантический блок? Триединая Русь трещит, рвется, как измокшая в воде нить. И глобального проекта успехи — наркомания, проституция, ювенальная юстиция, гендерное вос-питание, детский суицид, инцест (сказать по-русски — самоубийство и кровосмешение), оттеснение на задворки национальных культур, разру-шение традиционной семьи, снятие табу со всего нравственно-запретно-го, вседозволенность, а еще полное поправление справедливости и милосер-дия, а еще «время — деньги» (не жизнь души, не делание блага, а день-ги), «Вау!», «Все в порядке!», «Без проблем!»)

Разгулялись времена совсем не евангелические. Какие-то рыночно-необольшевистские. И по всей земле... Раздвигающая свои уже необозри-мые края давняя всепланетная трещина — откуда она? От внебожествен-ного — все на продажу? От пап — земных «наместников Бога», не выдер-жавших строгости евангельского Завета. От Реформации и протестантов, вдруг вообразивших, что не все дети-люди у Бога любимые, а есть люби-

мейшие, избранные? От множжащегося революционного сектанства? От погрома церкви большевиками? Духовные сыны и внуки последних стро-яют ныне храмы, да только далеко не всем им стать намоленными. Теперь и сильные понтифики не в силах противиться напору-потоку либераль-ных «ценностей»: прав на митинги и карнавалы голубых, на аборт, мужеложство, нимфоманство, однополый брак, педофилическую похоть, детский секс... умерщвление живых для продажи здоровых почек спец-больницам, обслуживающим богатых мира сего. А в перестроечной Руси-матушке? Надутые репутации, поддельные дипломы, права и паспорта, почетные предательство и клеветничество, шабаш нуворишей, грабитель-ство, предельная наглость прихватчиков народной и государственной соб-ственности с показушно-меценатскими «деяниями». И патриархи мало что могут. Вот женщины при власти, вроде американских госсекретарш, заявляют: дескать, победили мы коммунизм, но страшнее последнего — православие. Одна краше другой что по телесам лиц, обезображенных полит-адовым пламенем, что по безобразию мысли и слова. Немногим, может, умнее девиц из «пусси райт», но последние — грязные пустыш-ки, а те — присутственные государственные дамы! А вот и госсекретарь — «доблий муж» — ничтоже сумняшеся заверяет американский конгресс, что американскую бомбежку Сирии оплатят аравийские саудиты. Амери-ка помогает боевикам-радикалам, а те готовы изничтожить древние хри-стианские святыни. Госсекретарь! Случись подобное с русским офицером александр-николаевских времен, вышел бы за дверь и застрелился. Но эти — расстреливают других, чужими и своими руками и словами. Ли-рическое изгоняется циническим, шакалы тщатся обрести волчью статью, не прочь бы провить (конечно же — спеть!) на самых высоких подиумах и даже на сцене Большого театра. Гиены, словно бесы, радостно потира-ют лапки в офисах и на улицах больших столиц. Христианский мир ата-куем со всех сторон.

Де Голль, уходя с поста главы Французского государства после сту-денческих волнений (одной из первых цветных революций — подарка лукавых мировых сил), сказал в беседе с писателем и своим министром культуры Мальро: «Франция была душой христианства, или, скажем по-современному, европейской цивилизации. Я делал все, чтобы возродить ее... **Я пытался поднять Францию против конца света**».

Конец света? Эсхатологический конец? Иоаннов апокалипсис?

Возрождению уже не быть, «антропологический» проект, подготов-ленный разрушительной либеральной философией Маркузе, Фукуямы и им подобным, успешно подвигается к «антропологическому перево-роту»...)

Что за шрифт, что за алфавит не давал оторвать глаз от страницы! Непонятный, притягательный, с лебединой плавностью старославянских букв и букввиц.

В детстве дедушка извлекал из ветхого деревянного сундука оборван-ную на первых и последних страницах древневеликую Книгу, садился у окошка, бабушка рядом, а он, Андрейка, лежа калачиком на кровати, слушал и воспринимал читаемое как сказку с часто загадочными слова-ми. Особенно его чем-то совсем близким и одновременно несбыточно-да-леким волновали географические названия: пустыня Иудейская, море Галилейское, страны Тирские и Сидонские, пределы Магдалинские, Си-рия, Палестина, Иордан, град Иерусалим, гора Елеонская, сад Гефсиман-

ский, Вифлеем, Назарет, Капернаум, Голгофа, Фавор; еще Греция, Македония, остров Патмос, Хорошие Пристани...

В молодости он уже сам погружался в Евангелие, но, пронизанный скошено-просветительскими лучами атеистической державы, не испытал того благодатного чувства, которое являлось ему в детстве, когда бабушка медленно, повторяя слова, словно по слогам читал главную книгу христиан.

Но позже Евангелие открылось ему именно как Благая весть.

В безголосом доме (в один миг потеряв жену и дочь, он сердцем не смог далее обзавестись новой семьей), в старом, но крепком, из дуба рубленном доме на приречной улице большого, когда-то волостного придонского села он чувствовал себя если не схимником, то учителем-проповедником.

Третий века Природский преподавал историю, русский и немецкий языки, а дух и душу Евангелия, сколь мог, доносил учащимся разве что через «разрешенные» крылатые слова и выражения, изданные в цензурно строгой стране. Но разве можно было донести величие и благодать Евангелия через отдельные, пусть и глубоко-притчевые, афористические выражения?!

Возраст его был давно уже запенсионный, не обязывающий куда-то спешить, кого-то или что-либо искать и находить. Но едва не каждый день бывал он в школе, где все медленно изменялось, и к лучшему ли? Для него, шутя называвшего себя учителем-архаистом, труды Ушинского, Макаренко, Сухомлинского были куда вернее, чем циркуляры нынешних малограмотных министров образования, болонские методики, агрессивно внедряемый ЕГЭ — механически-бездушный, обезличивающий единый госэкзамен. Впрочем, чиновными сторонниками «открытого общества» — грантооплачиваемого разрушительства в отечественном наследии педагогики, культуры, литературы, языка — везде и всюду «архаика» выпальвается. Архаист разве против компьютера в школе? Против Интернета? Он всего лишь указывает на двуединство разумного и пустого, часто и вредного во всемирном электронном чреве, на опасность школьного прогресса, когда тот революционен.

Жизнь — у экрана? Жизнь — игра? Жизнь — рынок?

Он понимал, что мало смысла ополчаться против всякоблудных персонажей века своего, и даже не потому, что они, как и во все века, чаще всего мелки, злобны, преходящи, как девьи сны, а отцы церкви наставляют бороться не с «божьиими созданиями» в их любых искривлениях и падениях, а с самими внебожественными явлениями, проявлениями злого духа; он давно утвердился в мысли, что у истории свой, подчас иррациональный, подчас объективно видимый путь, и исторические фигурки — то ли оловянные солдатики с маршальскими жезлами — часто не самодвигаются, а подвижны не всегда видимым образом.

И прах с ними, злыми и лукавыми, с политическими и художественно-творческими временщиками, с ненавидниками его родины! Как повторял православный пустынный и Преподобный: «Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся!»

И жаль, право жаль, досадовал Природский, что нынче на бумагу устремились его «антиглобалистские» взгляды — в том возрасте, когда думать надо прежде всего о Вышнем. Или — вспоминать хорошее, родное. Как раньше — когда он записи о детстве, отрочестве и юности, о Синем Колодезе, о большой Родине годами пополнял; добрую половину прикро-

ватного книжного шкафа занимали тетради, исписанные его размашистым почерком. В том же шкафу, да еще в десятке их, образовавших у деревянных стен книжные стенки, жили своей неслышимой сплоченной жизнью шеренги изданий, приобретенных учителем в разных уголках большого Союза.

Жизнь Природского словно бы определялась четырьмя словами. Люди. Книги. Путешествия. Кручи.

О людях, часто пусть и недобрых, он старался не думать дурно, хотя давалось ему это не без труда: шло, может, от матери, справедливой сердцем, но резкой в оценках и поступках. Землякам он помогал — каждому, кто о чем бы посильном ни просил. Земляки, добрые и недобрые, были благодарны ему, благодарность слышалась в заглазно-уважительном: Учитель.

Летние отпуска он отдавал путешествиям, побывав и в зарубежных странах, и в уголках страны, через которые надеялся глубже почувствовать, понять трагическую и жертвенную судьбу своего народа, тот исторический его путь, о котором во всей глубине его дерзаний и страданий в книгах не узнать.

Из путешествий он привозил рюкзаки самых разных изданий — старинных и современных, классически выверенных и новомодных, почтенных, благонравных и традицию во все перья развенчивающих. И хотя не запойный книголюб, многое из приобретенного он прочитал, прибавив к прочитанному в государственных библиотеках. И чем больше читал, тем больше видел прилизительность и нередкую духовную и душевную беспомощность светских, пусть и гуманистических книг: не на их страницах надлежало искать ответы на главные вопросы земного бытия. А его школьный кабинет истории, за который (не только, понятно, за него) он был признан лучшим учителем района и вошел в плеяду отличников народного просвещения? Кабинет истории был и маленьким музеем битвы на поле Куликовом, но этажерка книг о страшной сече... разве можно в книге во всей полноте дать образ той сечи, где лес, прячущий Засадный полк, может, не меньший воин, нежели тысяча ратников с копьями, и может, именно благодаря лесу близкое поражение оборачивается победой? Живой лес помогает живым. А есть ли победа, когда гибнет хоть один человек? Нет этого в книгах на этажерке.

Возвращаясь из дальних поездок, он всякий раз поднимался на меловые кряжи — их как бы раздвигал глубокий и широкий лог, на придонском избытке которого просторно расположился Синий Колодезь; поднимался — возвращался в детство.

Здесь, на меловых кручах — тогдашнее наивное, почти языческое чувство всего, что открывалось с крутизны, — приречные луга и леса, заречные тиходремотные поля, прибереговые меловые кряжи, пески и лозняки, все мягко переливалось такими множественно-богатými и неповторимыми красками, какие он позже не видывал даже на самых прославленных музейных полотнах в их совокупности. И разоренный недавней войною Синий Колодезь — был словно образок с образа его сокровенного, томящего бедностью и все-таки великого Отечества (Советского Союза — первого в мировой поступи человечества великого союза в попытке обустройства государства справедливости через великие жертвы и преступления не только против церкви и крестьян), также через великие жертвы даровавшего Европе освобождение и мир; а не однажды пролетавшие над Синим Колодезем боевые эскадрильи захватывали сердце мальчика чувствами

державности и непобедимости в честном (будь только честным!) единоборстве с какими угодно полчищами злых и ненавидящих нашествий.

Неповторимые радости детства и юности — эти летние переплывы Дона, эти зимние соревнования на лыжах, слаломы на придонских меловых крутоспусках. Были даже гири двухпудовые, казалось бы, трудно совмещаемые с его тренировками на самодельной перекладине, на которой он по утрам «крутил солнце». Гири двухпудовые остались на задворках юности. Пред ним наливались тяжестью гири будущей жизни...

Он часто думал, что избрал путь, наиболее приближенный если не к истинному, то к справедливому, — вернулся на родной берег. А останься он в городе? Еще бы одним профессором обогатилось ученое сообщество? А разве не было других вариантов? Может, они бы дали ему иные, куда большие возможности проявить себя, принести побольше доброй помощи тем, кто в доброй помощи нуждался?

Где много сомнений, там мало веры.

С недавних пор он стал письменно рассказывать не столько о своей прожитой жизни, сколько о своих грехах. При безжалостных припоминаниях их набиралось — как черных птиц перед бурей. Старшеклассником впадал в гордыню при каждой своей спортивной победе... Не выполнил дюжины обещаний близким и знакомым... Грубо обидел соседа, старшего летами... Далеко не всегда слушался отца, его советов, предупреждений и увещеваний, чем и причинял ему тоску и боль... Обижал, причинял боль жене... Не стал принимать объяснений предавшего... Прошел мимо пьяного, когда тот просил о помощи... Не возвысил голос против художественной районной власти. Или — отказался участвовать в предвыборном кандидатски-депутатском действе, обещавшем немалые деньги, а их можно было передать сиротскому дому; ухвативший свободное место литературный делец разметал «предвыборные чаевые» на ночные разгулы, да еще выделил — для секты Белой Марии.

Но все это были грехи — «местного значения».

Неискупимое — он не смог и не мог быть участником великой войны *за свободу и независимость нашей Родины*, он не мог помочь участникам той войны, он не помог вдовам, сиротам, старикам хотя бы одного своего района.

Разумеется, его записи об этом — признания самому себе — не заменяли беззутайной исповеди перед причастием, и легче не становилось.

Теперь он читал только Евангелие, едва не каждая строка которого была прекрасна, глубока, целительна духовно и душевно, — сказал же об этом Пушкин вдохновенно и точно!

Он читал Новый Завет, как если бы перед ним были юные души, его не столь многочисленный класс; он видел их въяве — своих благодарных учеников, и шаловливых, и взрослеюще-серьезных, таких навсегда родимых, которым он прежде не все главное мог сказать и по собственному незнанию, и по многозапретительному времени, и даже по невмещаемой в один знак и один цвет оценке того или иного события, имени, и у которых так по-разному сложилось дальнейшее: кто-то достиг общественных высот и признаний, кто-то тихо-безвестно трудился в поле и на молочной ферме, а кого-то недуги и водка сгубили в молодых годах, и они-то, ушедшие безвременно и бесталанно, вспоминались ярче и больше других.

Бывшему сельскому учителю казалось, что семнадцать пар внимательных, внимающих глаз смотрят на него безотрывно и благодарно. И не

только для себя, а и для них читал он вслух патетически-вдохновенное, глубинное по смыслам Евангелие от Иоанна — любимого ученика Христа; читал полностью, а далее перечитывал наиболее, на его взгляд, вечное.

И снова брался за перо. Очередная общая тетрадь с записями близилась к последней странице.

(«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть...»

Данный человеку Глагол — главное из начал... Слово — Бог. Или, быть может, у Бога было некое высшее слово, которого мир никогда не узнает? Во всяком случае, загадочное «все через него начало быть» — ключ и к Благовествованию, книжно воплощенному, и ко всей Вселенной.

А что являет собою слово за слово, в бесконечной связке их? То есть язык? Действительно ли всякое слово исполняется благодати и истины? Разве что в древнем мире... хотя и древний — исчернен ложью и злобой каждодневной. Может, человечество настолько запуталось в себе самом, что все его языки, все миллионы слов потерялись в смыслах, и ни на каком языке невыразимо сокровенное, тем более невыразимо на эсперанто, или, скажем, обширно-практичном английском. Есть одна истина, одна любовь, одна благая весть — неразделимая Троица — Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. *«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит».*

Иоанн Креститель, который называл себя гласом вопиющего в пустыне, проповедник и пророк, а Иисусом Христом названный величайшим из всех пророков, допытливым иерусалимским священникам и левитам, посланным узнать, объяснил, что есть *«Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви Его».* А на другой день, увидев идущего к нему Иисуса, сказал: *«вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира... Сей есть Сын Божий».*

Сам Иисус более обстоятельно разъясняет себя ученикам и миру — в евангелически-хронологической последовательности это звучит так: *«Никто не восходил на небо, как только Сын Человеческий, сущий на небесах».* Заявление — неслыханное, озадачивающее, приводящее в недоумение, изумление, негодование, поклонение, — слышат разные уши и по-разному воспринимают. Далее из Его слов при встрече с самарянкой у древнего Иакова колодца явствует, что он податель воды живой и что он Мессия, то есть Христос. Пришедшие послушать проповедь у озера моря Галилейского, изумленные чудом накормления пяти тысяч их пятью хлебами и двумя рыбками, и те, кто находились за морем Галилейским, готовы были принять его как Царя — в одинаково великом удивлении от сотворенного *Тем Пророком;* на что Иисус ответил им, и даже повторил: *«Я есмь хлеб жизни»... «Я хлеб живой, сшедший с небес...»;* И далее — для учеников и для всех внимающих: *«Я свет миру...»;* *«Я от вышних, я не от мира сего...»;* *«Я есмь дверь; кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет».* Особенно надлежит остановиться на данной метафоре Иисуса. Вспомним в Евангелии от Матфея: *«И кто пошел на торговлю свою, а кто на ниву свою».* Торговля и нива. Вечное противостояние. И победное шествие торговли по всем векам и континентам. И не название фильма, а определение нынешнего времени — все на продажу.

«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец...»; Я и Отец — одно... Отец во мне и я в нем... я есмь Сын Божий; «Я есмь воскресение и жизнь»; «Я Господь и учитель...»; «Я есмь путь, и истина, и жизнь...»; «Я есмь истинная виноградная лоза...; «Я победил мир».

Накануне Пасхи Иудейской в Иерусалиме, в Храме, словно на каком-нибудь хозяйственном дворе, продавали волов, овец и голубей и вольготно расселись меновщики денег; Иисус Христос, изготовив и взяв в руки веревочный бич, выгнал из Храма всех торгующих, также и овец, и волв; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: *«Возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли».*

А ныне, при самом начале третьего тысячелетия, весь земной мир — шумный дом торговли, и множатся полчища не просто витрин, торговых киосков, лавок, магазинов, а и супермаркетов, супергипермаркетов, и эти всеизобильные монстры цепко стягивают в свои душные исполинские коробки огромные потребляющие людские толпы и, как ни нагоняют прохладу морозильниками и кондиционерами, удушают тысячи, сотни тысяч, миллионы покупающих — нужное и ненужное покупающих, взбадривают их кофе и пепси-колами, одуряют внутренними театральными постановками... Эти супергипермаркеты — добровольные тюрьмы, всякой надобности и ненадобности напиханные, где нет разве лишь роддомов и кладбищ.

Главное в Иоанновом Евангелии — понимание Христом природы человеческой как греховной. И страдание от той греховности. И сострадание. И всевбирающее в себя милосердие.

Иисус, свидетельствует Иоанн, не вверял Себя им, людям праздника Пасхи в Иерусалиме, — *«знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке...»* Не потому ли позже Иисус восклицал: *«Не принимаю славы от человеков... Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?»* — в этом восклицании горькое порицание человеческой суеты, гордыни, жажды успеха, все эти условные, приблизительные вклады человека в жизнеустройство, эти почести, аплодисменты, награды и вознаграждения, эти премии, призы, гранты, эти фестивали и шумы вечных стягоносцев самолюбований, самовосхвалений, самосвобод.

Вся человекообжитая история есть именно житейски-людское увенчивание славой человекв, и нередко тех, кто по высшей божественной справедливости не то что славы, но короткой доброй памяти не достоин. Убийца Кромвель, убийца Наполеон, убийцы — покорители Южной и Северной Америк... а уж сколько бумаги истрачено на описание их «деяний» и даже на восхваление грссмейстеров военно-мирного прогресса!

Сын Божий, Агнец Божий, Спаситель берет на себя грех мира. Но извбавляется ли после этого мир от греха? Предудущего или последующего?

Грех — самое всеобъемлющее понятие в эсхатологии Нового Завета.

Спаситель глубоко страдал от грехов людских в мыслях и делах. По всей Палестине, от Иудеи до Галилеи, вплоть до Сирии проповедовал Он Божественную истину спасения; иудеям, из тех, кто в Него уверовал, наказывал, что, пребывая в Его слове и познавая истину, они станут свободными — *«истина сделает вас свободными»*, — на что последние, однако, живо и сплоченно возразили, дескать, они, семя Авраамово, и не

были рабами никому никогда, словно забыв, что бывали в рабстве и у египтян, и у вавилонян, и у греков; тогда Иисус краток: «*Всякий, делающий грех, есть раб греха*». Всего семь слов, но сказано на века и для всего человечества. Для всех — «избранных» и неизбранных, для всех — сильных и слабых, для царей и бомжей. Равнословные — «всякий» и «каждый». Каждый — кроме разве ветхозаветных пророков, отцов и подвижников церкви. Далее Он еще более резок: «*Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо в нем нет истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи*». Но ведь Иисус прямо указывает: «*Спасение от иудеев*», видимо, имея в виду жизнь и слово ветхозаветных пророков, да и того же Иоанна Крестителя, который, к слову вспомнить, даже сидра, вина яблочного, капли в рот не брал; и, конечно же, имея в виду своих учеников и тех евреев-христиан, которые понесут свет христианства по всему миру, и гонения и преследования, травля зверьми, травля жестокими людьми, пригвождение ко крестам — ничто их не остановит.

Здесь едва ли не первый сполох «еврейского вопроса», столь многоязыко заполыхавшего на протяжении столетий во многих, если не во всех странах, сколь бы кто из великих, тот же Толстой, ни заявлял, что для него этот вопрос стоит по значимости на сто шестьдесят шестом или близком к этому месте.

Иисус изначально и до крестного часа не принимал иудейской верушки — служителей Храма и Синедриона, законников, старейшин, фарисеев, книжников, стражников, иродиан. Соответственно и Иисус был ненавистен последним как покуситель на незыблемость иудейского религиозного догмата, как некий опасный сотрясатель основ: в Храме разогнал бичом торговцев волами и овцами, деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул; в Иерусалиме, в купальне у Овечьих ворот в субботний день, не предназначенный ни для какого дела, кроме хвалы и молитвы Всевышнему, исцелил больного, а самое дерзкое — Отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу; настолько Он был ненавистен верхушечным иудеям, что те искали убить Его.

Питие — тоже грех? Во всяком случае, предшественник, а часто и совратитель в грех, провокатор греха.

И Природскому, давно уже воспринимавшему Евангелие как Главную книгу, было непонятно и странно, почему чудотворения Иисуса в дивном, вдохновенном Иоанновом Евангелии открываются чудом превращения воды в вино в Кане Галилейской. Неужто столь важное для человека — вино? А может, Природский спотыкался на этом потому, что его жена и дочь оказались жертвами чужой алкогольной тяги.

Жену и дочь сбил с белого света пьяный недоросль, на иномарке мчавшийся по сельской улице, словно по спортивной асфальтовой трассе. Отец вечно хмельного переростка, министр еще доперестроечных времен, рейдерски (опять же по-русски говоря — нагло, захватно) притянул в свой карман здешний химический завод, да еще по всей стране полдюжиной их завладел. И верно, случилось бы чудо, если бы районный суд не оправдал загульного Митрофанушку. Адвокат — крупнооплаченная бессовестность — пылко пенился, дескать, его подзащитный любит детишек, всегда готов им помочь, и вообще настолько добр, что божьей коровки не

обидит. Обвиняемого оправдали и в суде более высокой инстанции. Тогда Природский обратился в Верховный суд. Обернулось так, что в тот день, как он письмо отправил, неугомонное чадо нувориша-олигарха отправилось на тот свет, врезавшись немислимо дорогой моторной лодкой в могучествовольный подтопленный осокорь у берега Дона.

Но свадьба издревле — любовь и надежда на хорошее будущее, так пусть люди пьют-веселятся?!

(«Природа рабства — в природе греха. И Иисусовы слова о рабстве и преодолении его — для человечества, может быть, наиглавные. Высказанные Христом мысли о грехе имеют непреходяще значение для всесудебного человечества, «человеяника». Каждому их надо повторять не единожды на день, с утра до вечера. Повторять и помнить: «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Грех — убить, солгать, впасть в злую страсть, воровать, наживаться на беде других, лукавить, клеветать, причинять боль другому... Грех — множить несправедливость. «...Раб не знает, что делает господин его...» Самое страшное, что искажает человеческую жизнь, — незнание правды и шаги-поступки мимо правды. Есть силы, есть корпорации, клубы, ложи, которые ведут тайную жизнь, более невидимую, чем ночные жучки-древоточцы в стволе прекрасного дерева жизни. Финансовые династии, политические кланы, информационная власть — часто как гуляющая девка на рынке власти политической... Так или иначе не только все прогрессы, но все разломы общественной жизни, все войны и неустройства, роскошь чьих-то избранных жизней — за счет грабительского обирания человечества силой или хитростью. Большая часть человечества не ведаёт, что за преисподние замыслы и планы роятся в империи главных банкиров — распорядителей войны и мира, и это неведение в сущности даёт им власть иметь рабами тех, кто властвует над другими и их считает рабами. Цепь бесконечная...

Но великую надежду дал Христос человечеству, обращаясь к ученикам-апостолам: *«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга... Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя... Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего».*

И это — обретение свободы истинной, ответственной, благодатной, не могущей быть сломленной приблизительными законами, из тех, что крупные преступления покрывают наказаниями мелкими или вовсе никакими.

Но чувствуешь, как действует жестокая и сплоченная корпорация уничтожения Евангелия! Кто они были и есть — эти эскадроны духовной гибели человечества?).

Он лежал в постели, ночь почти не двигалась, он ее не чувствовал, он был все в той же аудитории, где глаза родных юношей и девушек сияюще вперились в него, — взглядчивые, глубокие, верящие глаза!

Он думал и им открывал неслучайное: в Евангелии от Иоанна едва не все значимые слова и смыслы, — Слово, Свет, Отец-Бог, Сын Человеческий, Дух Святой, Крещение, Воскресение, Мир, Небо, Земля, Благодать, Глаголы Вечной Жизни, Душа, Любовь, Добро, Зло, Власть, Закон, Суд, Грех, Совесть, Правда, Истина, Справедливость, Хлеб, Отечество, Народ, Дом, Дверь, Колодезь, Живая Вода, Слава, Свобода, Вина, Книга...

Под утро чередой пошли сны.

Приснилось, будто он последний человек на земле, читающий Евангелие. Не ныне читающий, а через семьдесят, или семьсот, или семь тысяч лет: разное время сошлось в один срок, коль время и пространство давно уже изменились в нарастающем своем беге. В мир была нагнана всепланетная война, после которой окончательно утвердились антиевангельские паук-банк, суд несправедливый, пошлая эстрада. Отошли в предание такие понятия как любовь, совесть, честь... человек стал не человек, а киборг, искусственное, внебожественное существо. Он и внешне изменился, и маленькие, узенькие щелки-глаза его взглядывали и колюче, и равнодушно, а подобный лягушечьему рот готов был, казалось, проглотить всю вселенную. Это был сон, но он понимал, что после такого сна страшно уходить на тот свет.

И, словно Господь сжалился над ним, ему тут же был послан сон светлейший. Девочка, отроковица, одна-одиошенька, в большом храме выстаивает перед иконостасом и молится, молится, молится. Она так прекрасна! Она напоминала ему его погибшую дочь, которая являлась ему во снах неизменной, — стоящей в юной задумчивости у Белого родника на берегу Дона.

Он снова проживает свою жизнь: подростком отвечает у школьной доски, гоняет матерчатый тугой мяч, таскает воду из колодца, юношей влюбляется, сажает клены и акации, чувствует силы сдвинуть горы, а давновзрослый — читает, управляет по дому, молится, скорбит, спорит с Ренаном, понимает Флоренского и Мориака... Он, может, впервые чувствует непобедимую кротость и силу Сергия Радонежского.

И сон последний. В воскресный, северными холодами дышащий осенний день, на высокой придонской гряде, на круче его детства он сидит у костра, где зябко ежатся Лютер, Толстой, Ренан, — почему-то он не чувствует к ним той почтительности, какую испытывал в молодости. Смотрит на них, как если бы глядел на знакомых из своего круга, заблуждающихся и раскаивающихся ли в сердцах и душах своих?

И вдруг все четверо, словно мгновенно ухваченные чудодейственными крыльями, оказываются в Палестине, на каменисто-песчаном берегу реки Иордан. И тут он видит Христа. Красные рубцы избивений на его лице и груди светятся, как если бы то были благодатные небесные лучи. Христос в рубищах — светоосиян! Он проходит мимо, словно не замечая знаменитых европейцев, на тысячу девятьсот лет моложе его, уходит все дальше...

Палестина превращается в планету, во Вселенную, в вечность.

Знойно-раскаленный песок-самум ярился, и ливень лил, и град бил ледяными яблоками, и снег падал, падал, падал...

Утром учитель-архаист... вся его «архаика» заключалась в том, чтобы не «модифицировалась» (разве что в болезни) природа всякого творения Божьего, чтобы дети рождались не сплошь в пробирках, чтобы они набирались знаний не только у бездушных машин, но и у душевных, сердечных, любящих воспитателей, учителей; чтобы было согласие в народах и в семьях, чтобы дети почитали отца и мать, а родители в ребенке, отроке, юноше помогали вырастить Личности... Чтобы не вырубались донские осокори и сосны ради возведения на их корнях нуворишевских особняков, чтобы комфорт, всяковвсяческое изобилие и приапическое, извра-

ценное мутноводье не губило бы живые души, чтобы... Да, архаичный чу-дак. Так вот учитель-архаист направился к храму Архангела Михаила на высоком придонском взгорье его детской родины — кровно нераздельно-го с ним родного села с поэтическим названием Синий Колодезь. Это была церковь, в послевоенные советские годы приспособленная под школу, в которой его учили тому, что Иисус Христос — выдумка, миф, густой туман для обмана бедных верующих.

Как он легко одолевал подъем в детстве! Как трудно было сейчас! На полупригорке он примедлил шаги, а затем и вовсе остановился. Когда-то здесь, именно на этом скосе, обидел он свою соклассницу. И обидел-то как — не защитил, когда двое ребят, постарше его, толкнули ее, чистую, в грязь.

И была то не самая страшная грязь, но — первая. И он подумал о нынешних юных созданиях, о чьих-то внучках и дочерях, которым в нынешнем мире выпадет и чистое, и грязное, и, не случилось бы, — все грязное да грязное.

И вдруг упал. Последнее — он увидел белые облака в лазурном небе как образы дольного и горнего.

Двенадцать когда-то его учеников, двенадцать взрослых, направлялись в Синий Колодезь и находились от него на разном расстоянии.

Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир...

В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал...

